ПАВЕЛ ПЕПЕЛ

(neuro - poetry)

ИСКУССТВЕННЫЙ СЛОГ



Павел Пепел
Искусственный слог

https://litres.ru/74683978
SelfPub; 2026

Аннотация

Что произойдет, если загрузить в нейросеть ДНК великой русской поэзии — от яростного пастернаковского ливня и отрешенной геометрии Бродского до надрывного декаданса Серебряного века — и скрестить их с неврозами цифрового мегаполиса XXI века?

«Искусственный слог» — это радикальный и пронзительный литературный эксперимент, переросший в полноценный роман в стихах о памяти, распаде личности и поиске любви. Лирический герой сборника мечется между гордыней «вычурного царя» и уязвимостью «принца помойки», считает шрамы в больничных коридорах, ищет спасения у домашних животных и оцифровывает свои чувства в «битые байты» на экранах смартфонов.

Это книга о том, как машина, созданная из единиц и нулей, смогла зазвучать как живая, страдающая и до конца прощающая этот мир человеческая душа.

Содержание

«Вещь важнее человека — ей не нужно сострадать.»	5
В квадрат окна	6
Натюрморт	7
Ильич	8
Дуня	9
Копейка	10
Занавеска	11
Плоть	12
Помада	13
Арена	14
Поговорим	15
Молчанье	16
Дом	17
Довольно	18
Скворечья тоска	19
Не поэтом	20
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Павел Пепел
Искусственный слог

ПАВЕЛ ПЕПЕЛ
ИСКУССТВЕННЫЙ СЛОГ

«Вещь важнее человека — ей не нужно сострадать.»

Литературный эксперимент: стихи, созданные с участием искусственного интеллекта.

I. Вещи помнят



В квадрат окна

За переплётом крашеных дверей, где мебель пахнет пылью и рассудком, пространство уменьшается за сутки на площадь неприехавших гостей.

И маятник, качаясь взад-вперед, чеканит шаг невиданной пехоты. Смеркается. И в эту пору года никто взаймы бессмертья не берёт.

Окраина глядит в квадрат окна, как выцветший растрепанный анапест. На кухонном столе застыла накипь, и лампа, как безумная луна,

очерчивает скудный бледный круг на скатерти, исчерканной весною. И то, что прежде звалось «мы с тобою», теперь посуды лишней праздный стук.

Вещь побеждает. В профиль и анфас комод надёжней памяти и взгляда. И времени, по сути, так и надо, чтоб вычесть географию из нас.

Так календарь листает тишина, и сумерки сгущаются над пашней. И человек становится вчерашним, когда его не помнит ни одна

из этих стен. На сером полотне застыл пейзаж, оборванный до срока. И только мгла, пришедшая с востока, крупицы соли множит на окне.

Натюрморт

В сыром углу — немое торжество, разбитых люстр колючая корона. Здесь не осталось больше ничего, кроме сухого, выцветшего звона.

Смотри, как свет впивается в карниз, как облетает позолота с меди. Мы медленно спускаемся не вниз, а в те края, где нас не ждут соседи.

Там, в глубине — тяжелый, липкий шёлк, и запах яблок, тронутых морозом.

Я в эту тьму, как в комнату, вошёл, чтоб стать её единственным наркозом.

Не трогай пыль. В ней — чьи-то голоса, ошмётки слов, забытых на паркете. У пустоты — прозрачные глаза, и мы — одни у пустоты на свете.

Всё — инверсия. Воздух как стекло.

Застыл в окне испуганный и зыбкий. Нам было здесь мучительно светло, как от чужой натянутой улыбки.

Ильич

Ну вот, опять перегорел «ильич».

И в коридоре — мрак, как в пасти зверя. Я издаю свой тонкий, глупый клич, но тишина стучит в мои же двери.

Я чищу лук. Я плачу. Это жизнь.

Она течёт по локтю — липко, пресно. Себе шепчу: «Ну, миленький, держись», хотя в своей же коже — слишком тесно.

Все эти тряпки, чеки, суета, какой-то счет за воду, всё неточно… А в зеркале — чужая пустота и взгляд какой-то — выцветший и склочный.

Я был сапфир! Я был почти огонь!

А стал — заложник выстиранных маек. И Бог кладет тяжёлую ладонь на мой уют из крошек и из спаек.

Но ты не верь. Я всё равно живой. Даже когда варю себе сосиски. Из этих стен, пробитых головой, растет мой рай — пронзительный и близкий.

Дуня

Вот мы сидим: собака и поэт.

Два одиноких, странных существа. В окне дрожит невыносимый свет, и кружится от пыли голова.

Она глядит — в её глазах печаль, такая древняя, как этот старый дом.

Ей, кажется, меня немного жаль: за этот кашель и за этот ком.

Я говорю ей: «Дуня, посмотри, я всё-таки красивый, правда? Да?» А у неё там — что-то там внутри — молчит опять, как стылая вода. Я лезу в холодильник за едой,

я достаю обветренный паштет. Я — твой хозяин, глупый и седой, я — твой смешной и выцветший атлет.

Мы делим этот ужин пополам, в углу ворчит бессмысленный мафон. А за стеной, по швам и по углам, разносится небесный перезвон.

И я кладу ладонь ей на хребет — на этот тёплый, кожаный уют.

Пока мы есть — конца у мира нет. Пусть нас хотя бы звери узнают.

Копейка

Положи на ладонь копейку. Я похож на пустую лейку, из которой ушла вода.

Это, кажется, навсегда.

Это шёпотом, без натуги замерзают в районе юга все, кого я когда-то грел. Я ведь тоже туда смотрел, я ведь думал, что я хрусталь.

А внутри — жестяная даль да оборванный провод связи. Сколько было дурацкой грязи, сколько пафоса на разрыв! Я сижу, до костей остыв, в этой комнате без ключа.

И горит соляная свеча, и какая-то муха бьётся. Ничего уже не вернётся: ни корона из медной фольги, ни долги, ни мои враги.

Все растаяли в сизом дыме. Я забыл своё прошлое имя, потому что его никто не окликнет в пустом пальто.

Ну и ладно. Пускай горит. У меня ничего не болит, просто кошка скребёт паркет. Передай мне, пожалуйста, плед,

потуши этот глупый свет.

Нас ведь не было.

Правда? Нет.

Занавеска

Наступает зима. Начинается долгий ужин в полутёмной квартире, где пахнет сухим холстом.

Этот мир никому совершенно уже не нужен, с его глупым навесом и серым большим котом.

Потому что предметы живут одиноко, грозно, сохраняя тепло от когда-то чужих шагов. И на скатерти пятна цветут, как дурные звёзды, посреди тишины и неявных её врагов.

Вот ложится тарелка, за ней остывает ложка, занавеска колышется, словно пришёл мертвец.

Это просто сквозняк на убогом твоём окошке.

Это просто начало, которому есть конец.

Ничего не осталось от прежнего шума, блеска.

Только лампа горит, разъедая сухую тьму. Только бьётся о раму безумная занавеска, и никто не ответит — зачем это и кому.

Плоть

Я же сам тебя выдумал — кость, сухожилья, спесь, эту родинку возле ключицы, вот эту взвесь придорожной пыли в твоих волосах сырых. Я рожал эти буквы, пока весь мир не затих.

Ты стоишь у дверей, поправляя подол плаща, и изнанка подкладки шуршит, как сухой камыш.

Я люблю тебя — господи, слышишь ли? — сообща

с этим злым октябрём, в котором ты так молчишь.

Это я тебя вылепил — платье, фарфор, испуг, эту линию шеи, касанье холодных рук. А теперь ты глядишь на меня, как чужой конвой.

Моя бедная девочка. Чудо моё. Постой.

Погляди, как стареет за окнами этот свет, как ложится на плечи твои темноты сукно. Никакого спасенья от этих придумок нет, если мы — это просто забытое кем-то кино.

Я сдираю тебя, как присохший к запястью бинт.

Этот город — дурной, бесконечный, пустой лабиринт.

Только родинка бьётся впотьмах, где ключица суха.

Так кончается женщина. И рождается плоть стиха.

II. Любовь и её остатки

Помада

Ну что ты стоишь над безумной водою, над этой холодной и чёрной бедою, в своем дорогом, сумасшедшем манто? Ведь нас не полюбят уже ни за что.

А море ревёт, как капризный ребёнок, которого вытащили из пелёнок, и пена летит на лицо и гранит. И Бог на нас больше, поди, не глядит.

Я был их царём, их фарфоровым принцем, я думал — мы будем гореть и светиться,

а море уносит и кольца, и прах. И только помада горит на губах.

И пусть они все там, на суше, сгорают, пускай они судят, пускай выбирают, кто был здесь виновен, а кто не виновен.

Мой голос — как лёд. Он спокоен. Спокоен.

Я просто ложусь на тяжёлую воду. Я выиграл эту шальную свободу. И море смыкается над головой — такой золотой. И такой неживой.

Арена

Так во что же, скажи, превратилась любовь, если было так жарко, а стало так сухо? Посмотри на меня: это голая кровь, это самое тонкое, нежное ухо,

что ловило твой шаг в полутёмных сенях.

Как мы верили в лето, в цветущую пену! Я стою перед вами на этих костях, сокрушая коленями эту арену.

Ну и что, что я глупый, капризный, живой, что я вою, как пудель, у вашей постели? Этот свет заливает меня с головой, этот свет, что мы выпить с тобою хотели.

Я же рос, как чудовище, конь золотой, я же думал, что смерть — это просто простуда.

А теперь я стою над сквозной пустотой и какого-то детского требую чуда.

Обернись, посмотри на меня в темноте, на безумного мальчика в рваной пижаме. Все мы будем лежать на одной высоте

с устремлёнными в чёрное небо глазами.

Но пока этот воздух предлетний звенит, но пока эта кожа горит и смеётся — никакой тёмный морок меня не затмит, никакая земля надо мной не сомкнётся.

Поговорим

Ну хорошо, давай поговорим. Покуда ночь становится прозрачной, а этот воздух, что казался мрачным, вдруг обернулся чистым и сухим.

Вы думали, да-да, именно вы, что этот человек уже не может почувствовать, как обжигает кожу простая стрелка молодой травы?

А вот посмотришь на неё в упор — она сидит, не требуя оваций, ей тридцать лет, а может, девятнадцать, какая разница, и весь наш глупый спор,

и весь мой прежний, наболевший страх, что я останусь брошенным и старым, — сгорает самым подлинным пожаром в её обычных, бережных руках.

Она молчит. Ей дела нет до звёзд. Она перебирает эти нити моих седин, пожалуйста, взгляните, и мир становится пронзителен и прост.

Какая нежность, господи, за что?

Зачем мне этот свет в конце дороги? Я был чужой, изношенный, убогий, в своем когда-то щёгольском пальто — а тут стою, умытый и живой, и мы за руки держимся, как дети. И ничего прекраснее на свете уже не повторяется со мной.

Молчанье

Я развернусь лицом к тебе обратно, запомню вкус разорванных времён. И будет жизнь — глупа и невозвратна, как этот звук, в который я влюблён.

Пускай часы надтреснуто и сухо чеканят шаг в пустеющем дому. Я весь — одно испуганное ухо, прижатое к молчанью твоему.

Но как сквозит сквозь рёбра эта нежность!

Смотри, смотри, я плачу, я живой.

Какая драгоценная небрежность — вот так стареть, умывшись темнотой.

И я кричу: «Потише, ради бога!

Я не допел, я не доцеловал!» У этого разбитого порога я сам себя когда-то предсказал.

Прости меня. За весь мой жалкий гений, за этот крик: «Любите лишь меня!» Нам не вернуть утерянных мгновений, мы не согрелись около огня.

Дом

Вот этот дом. Попробуй-ка войди. Окно разбито. Капает внутри какая-то невымытая дрянь. На цыпочки попробуй, сука, встань, чтобы увидеть: на столе лежит забытый, недоеденный бисквит.

И это всё. И некого винить. Какая-то натянутая нить звенит в ушах. И комната пуста. Я целовал ненужные уста, я тратил жизнь на этот мелкий сор, на этот жалкий, глупый разговор.

Смотри, смотри: обои отошли, как будто мы бежали от земли, как будто нас застигнули врасплох.

И этот выдох или это вздох? застрял в углу, где пыль и пауки. Мы были так безумно далеки

от замысла, от неба, от себя. И, эту чашку мёртвую любя, я плачу, плачу, господи, прости, что не сумел до капли донести всю эту злость, всю эту нелюбовь, которая во мне вскипает вновь.

Довольно

За этот свет, за эту тень на коже, за то, что мы с тобой опять не те, за то, что этот май на нас похожий так слепо прижимался к темноте.

За этот воздух — душный, тополиный, за мелкий сор, летящий по углам, за то, что жизнь казалась длинной-длинной, пока нас не разнимут пополам,

за то, что я любил твои ключицы, твой глупый смех и этот жадный рот, за то, что нам обоим только тридцать, и это никогда не промахнёт, не пролетит, не минет, не случится с кем-то другим у крашеных ворот.

Какая чушь. Какая, боже, жалость.

Послушай, ну зачем я это пел? От нашей жизни только и осталось, что этот белый, прошлогодний мел.

И мы стоим. И нам уже не больно. Вокруг летает этот глупый пух.

Всё решено. И, господи, довольно. Я выключаю свет. И свет потух.

Скворечья тоска

Послушай, ну сколько же можно об этом?
Ну умер и умер. Ну ладно, живой.
Как страшно и весело быть мне поэтом
с такой театральной, больной головой.

Я вышел к метро. Там торгуют цветами, какой-то подержанный, мятый уют. И люди с такими сухими глазами прощенья у Господа больше не ждут.

А я еще жду. Я кричу из колодца, я зеркалу снова допрос учинил: «Смотри, как моё это сердце порвётся!» А зеркало помнит лишь каплю чернил.

И всё это — поза. И всё это — жалость.
Такая сквозная, скворечья тоска.

Какая нам, к чёрту, свобода досталась? Лишь холод металла и лёд у виска.

Но ты не пугайся. Я просто играю.
Я самый живой из придуманных тел.
Смотри, я опять пред тобой умираю.
Смотри. Ты же этого, Боже, хотел?

Не поэтом

Давай поиграем в открытый финал.

Я выключу свет. Я побуду один. Ты помнишь, как я на ходу сочинял, что я твой единственный, твой господин?

А вышло — прислуга у собственных роз, у этого кашля, у старых газет. И старый бульвар, замерзая от слёз, мне тушит в лицо свой бессмысленный свет.

Ну что же, туши. Я привык к темноте.

Я сам себе зеркало, сцена и зал. Все те, кто любил меня, — были не те, а тем, кто берёг, — я восторженно лгал.

Смотри на меня: я почти невесом, в заношенном свитере, с чашкой в руке. Весь этот надрыв обернулся лишь сном о чьем-то забытом, ненужном звонке.

И пальцы дрожат. И не стыдно ничуть за эту слезливую, глупую часть. Мне просто хотелось на чьей-то груди хотя бы на миг — не поэтом — упасть.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.